

Николай Алексеевич Некрасов

Необыкновенный завтрак

(ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ СОТРУДНИКА ГАЗЕТЫ, ЗНАМЕНИТОЙ ЗАМЫСЛОВАТОСТЬЮ ЭПИГРАФА, РАССКАЗАННЫЙ КОРОТКИМ ЕГО ПРИЯТЕЛЕМ)

I

В КОРИДОРЕ

Бенефис актера, отличавшегося необыкновенною любезностию, заключился пирушкою, на которой, как значилось из счета, поданного хозяином трактира, было выпито 17 бутылок шампанского, 14 хереса и 26 портера; съедено 36 порций разного кушанья, выкурено 130 трубок, 46 сигар и 11 папирос; разбито 23 стакана, одно большое зеркало, 9 тарелок, 7 рюмок и 3 чайника; изломано 5 чубуков и прожжено 6 салфеток. Бенефициант имел осторожность вовремя объявить, что не отвечает ни за что, кроме "собственных требований", и таким образом благоразумно сохранил большую часть сбора, которому в противном случае угрожала неизбежная гибель. Зато при расчете произошли значительные затруднения.

Я проснулся часу в одиннадцатом. Голова кружилась; в ушах звенели дикие взрывы хохота, дикие рассуждения, дикая брань и похвалы еще более дикие; тело, как после продолжительного путешествия в русской телеге по "немецкому" неукатанному шоссе, мучительно колыхалось. Я кликнул человека и, ухватившись за боковую сторонку дивана, на котором лежал, приказал тянуть себя за ноги.

В одиннадцать часов ровно кабинет мой наполнился теми из вчерашних гостей бенефицианта, которые более других чувствовали глубокую справедливость философской поговорки "Чем ушибся, тем и лечись", но редко имели средства к ее исполнению. "Ушибались" они обыкновенно на чужой счет, но не всегда удавалось им на чужой счет "лечиться". Они без зазрения совести стащили меня с "одинокоего ложа" и требовали, чтоб я скорее одевался, потому что (говорили они) сотрудник газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, вероятно, уж давно ждет.

Тут только я понял причину раннего прихода достойных друзей моих и вспомнил, что, прощаясь накануне с сотрудником известной газеты, получил от него приглашение на завтрак; мало того, вспомнил даже обстоятельства, предшествовавшие приглашению, эффект, который произвело оно, и некоторые остроумные замечания, сделанные по этому важному случаю одним записным актером водевилистом.

Завтрак у сотрудника газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа!.. Завтрак у человека, который никогда не давал завтраков и, кроме того, не стыдится брать за свой собственный труд — за свои пьесы деньги с бенефициантов, ни во что ценя их доброе расположение, их дружбу, их ласки и комплименты! Завтрак у человека, который воздаст нередко за чужую хлеб соль печатными ругательствами и насмешками, слывет бедняком, ходит робко, смотрит в землю, говорит тихо и мало, так что трудно понять, что он за человек... О, завтрак у такого человека интересен не для одних господ, которым нужно только опохмелиться где бы то ни было, хотя бы у трубочиста...

В половине двенадцатого я был совершенно готов и с нетерпением ждал актера, отличавшегося необыкновенною любезностию, с которым мы условились ехать к сотруднику

вместе. Наконец, к особенной радости достойных моих друзей, которых положение было просто мучительно, актер явился. Мы отправились.

Никто, кроме меня да лысого драматурга водевилиста, который имел привычку таскаться ко всем, у кого можно было выпить рюмку водки и подслушать каламбур, не знал квартиры сотрудника: на нас пала обязанность всеобщих проводников. Мы ехали впереди, и когда, проехав несколько улиц, поравнялись с огромным, довольно неопрятным домом, в пять этажей снаружи и в шесть внутри, драматург скомандовал остановиться.

Общество наше расплатилось с извозчиками и, пока взбиралось в четвертый этаж, где жил сотрудник, вытерпело влияние четырех разнородных атмосфер: каждый этаж имел свой особенный воздух, свою самобытную вонь, которую напрасно бы стали оспаривать у него другие этажи. Известно, что есть мастерские, в гостях у которых непривычный человек задохнется в минуту. Дом был наполнен подобными мастерскими...

Войдя в коридор четвертого этажа, мы вздохнули свободно, потому что стекла в окнах коридора, выходявших на двор, были сплошь выбиты. В противоположной стене коридора были также окна, но с полным комплектом стекол, и дверь, на которой красным карандашом была написана фамилия сотрудника. У двери стояло три человека: отставной солдат с корректурами и два петербургские мещанина средних лет, один с рыжей бородой, другой с черной...

Драматург водевилист стал звонить...

Человек, у которого мы надеялись позавтракать, был коротким моим приятелем. Я могу сообщить о нем сведения, какие едва ли сообщит кто другой. Он называл себя несчастнейшим человеком в мире и имел к тому много причин. Несчастья его не заключались в дурном расположении карт, в скверных прикупках и тому подобных житейских неудачах, которые нередко вызывают строптивые вопли отчаяния на уста настоящего поколения; несчастья его заключались в собственном его характере и в образе действия, к которому принудили его обстоятельства. В каждом моменте своей жизни он чувствовал разительное противоречие собственным желаниям, которые, впрочем, время от времени изменялись и в которых он никогда не мог дать себе определенного отчета. Другой на его месте давно бы переменял сотни поприщ, перепробовал тысячи занятий, чтоб удовлетворить безотчетным стремлениям, которые не давали ему покоя. Для него это было невозможно: он был в высшей степени нерешителен и бесхарактерен и принадлежал к числу людей, из которых всё может сделать привычка. Он писал по привычке, пил (иногда очень много) по привычке, улыбался чужим глупостям по привычке. Я думаю, его можно бы даже приучить к подлости, если б приняться за дело умеючи: по крайней мере я замечал, как то, что в первый раз зажигало глаза его огнем негодования и стыда, он слушал впоследствии весьма хладнокровно. Авторство у нас еще доньше придает тем, кто умеет пользоваться его привилегиями, особенный вес, и как бы ни был плох сочинитель, всегда найдется кружок добрых людей, где будут смотреть на него как на гения. Нашему герою авторство не доставляло ничего, кроме скудного пропитания и тяжелых душевных мук: он, как говорится, был неказист; совсем не умел задать тона, пустить пыль в глаза. Неуверенный в самом себе, нерешительный, он подходил ко всему робко, с каким-то просительным видом, смотрел подобострастно, говорил только в крайних случаях и нередко совсем не то, что думал; словом, на каждом шагу он делал по привычке те маленькие подлости, которые лишают человека оригинального колорита и низводят на степень пошлых людей. Иногда, смотря, с каким простодушным, по-видимому, в высшей степени искренним жаром герой наш поддакивал и улыбался островам какого-нибудь нужного человека, его можно было принять за дурака первой руки. Подобная роль, конечно, не может дать большого веса в жизни практической. Герой наш очень скоро это почувствовал и несколько раз пытался переделать себя — прикидывался наглым, беспечным, хвастуном, резким в суждениях, но беспрестанно впадал в промахи, за которыми тотчас являлось сознание, и это еще более увеличивало его мучения. Он писал обо всем, о чем только можно писать для печати, но был, подобно большей части сотрудников русских журналов, удивительно малообразован. Зато в значительной степени обладал способностью прикидываться всезнающим, и если знал о

предмете сотую долю, то очень искусно разыгрывал пред читателями роль знающего предмет в совершенство. Он так привык к этому литературному шарлатанству, что даже несколько его не стыдился. Часто приходило ему на мысль желание поучиться (он чувствовал необходимость образования), но никогда не доставало в нем твердости променять горький кусок хлеба, доставляемый журнального работою, на независимость, вместе с которою, быть может, ждала его голодная смерть. По обыкновению, слабых людей, он винил в своих несчастиях ближних, судьбу, обстоятельства, но был виноват только сам...

Итак, мы пришли в коридор. Рассыльный спал, прислонившись к косяку двери; мещане шептались между собою, бросая на нас косвенные взгляды; драматург водевилист звонил. Наконец ему надоело звонить. Он разбудил солдата и спросил: дома ли хозяин.

— Дома, — отвечал солдат, — изволит читать калехтуру.

Драматург водевилист хотел снова звонить; но в ту самую минуту форточка соседнего с дверью окошка отворилась, и в ней показалась голова сотрудника газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, всклоченная, заспанная, с небритым подбородком и носом в чернилах.

— Господа! — сказал он. — Если вы хотите попасть в мою квартиру, то прежде всего пошлите за слесарем. Надобно сломать замок.

— Сломать замок?

— Не иначе. Я заперт снаружи.

Затем он подозвал отставного солдата и, вручив ему несколько прочитанных корректурных листов и две три страницы "оригинала", принялся толковать, куда что отнести, когда прийти за окончанием статьи и пр., и пр.

— Слушаю, ваше благородие. Счастливо оставаться!

Солдат ушел.

— Кто же тебя, братец, запер? — спросил драматург водевилист. — Говори откровенно: *не запирайся!*

Кудимов, имевший свои причины восхищаться остротами Анкудимова, захохотал.

— Кто запер? — отвечал хозяин с некоторою досадою. — Человек запер!

— Как человек?

— Ну как... разумеется, как — ключом!

Послышался стук сапогов, подбитых гвоздями, и в центре кружка, образовавшегося около окошка из членов нашего общества, явился рыжебородый мещанин, рябоватое лицо которого, плававшее справедливым, по-видимому, негодованием, очень живо напоминало голландский сыр. Губы его, немножко раскрытые, выказывали ряд гнилых, черных зубов, как у большей части купцов, торгующих фруктами...

— Надуванция с, господа! — сказал он, приветствуя каждого из нас мещанским поклоном. — Чистая надуванция!

— Вестимо, — подхватил чернобородый мещанин, протеснившийся чрез толпу к своему товарищу. — Не хочется денег платить!

— Молчите вы, свиньи! — с гневом воскликнул сотрудник. — Не с вами говорят. Пошли вон.

— Пойдем, как деньги получим... обещал сегодня, так сегодня и заплати... дверь заперта, ну так, в то место, через форточку заплати...

При слове "через форточку" сотрудник вздрогнул.

— Сумма невелика, — продолжал рыжебородый, — пролезет! Двадцать три рубля семьдесят три копейки...

— Да мне осьмнадцать рублей.

— Итого... Мещанин стал считать...

— Ничего! — воскликнул сотрудник грозным голосом. — Сегодня решительно ничего! Завтра...

— Спасибо! Покорнейше благодарим с. Вот, господа, — продолжал мещанин, обращаясь к нам, — рассудите, господское ли дело? Приятелем нашим прикинулся. Каждый день в лавку

зайдет. "Куда с идете, Павел Степаныч?" Да вот надобно деньжонок получить, говорит, пьесу новую сочинил, и пойдет рассказывать, и про Асёнкову, и про театр, и про ахтеров, — заслушаешься, такой краснобай... поневоле дашь, в то место, полфунтика сыру швейцарского в долг... либо осьмушку чайку!.. Спасибо, говорит, благодарю, отдам с благодарности!". Вот только пьесу мою сыграют: три тысячи, в то место, говорит, получу... "А что, хороша пьеса? — спросишь его. — Насчет трагедии, чувствительное, или так просто комедия?" Разное, говорит, да и ну пересказывать, а сам то и дело — отпусти того, другого, десятого. Отпусти стеариновых свеч: при сальных, видишь, не пишется! Не всё равно, бумагу переводить!.. Вот, судари мои, отпустим и свеч. Он всё сидит, вон нейдет, да и нам весело с ним: таким ведь хорошим человеком прикинулся, словно ахтер.

— Всё равно, что сочинитель, что ахтер, — заметил чернобородый.

— Пьет с нами чай, ест всякий деликатес: изюмцу отведаст, черносливцу, орешков, набивает пузо, словно сроду сластей не видал, а сам, в то место, всё говорит, говорит... И камплетцы разные распевает. У меня братан, знаете, старший больно охоч до театра... вот он к нему баснями то и подлещался...

— Замолчишь ли ты, дурак, — с гневом вскричал сотрудник.

Мещанин, догадавшийся по движению рук сотрудника об опасности, угрожавшей его бороде, отскочил от форточки и, злобно улыбаясь, воскликнул:

— Небось совестно стало! Покраснел, словно чайник... Дурак... я, видишь, дурак... а брата моего... у меня, господа, брат уж точно дурак, умалишенный, и в дела ни в какие не входит... только слава, что старший... брата моего, в то место, умником звал: вы, говорит, имеете образованный вкус... а сам ест пастилу... мне приятно знать ваше суждение с об моей комедии... я вам, говорит, в то место, билет принесу... позвольте взять сардинок коробочку...

Сотрудник газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, вторично обнаружил намерение побить словоохотливого рассказчика, но оно, как и первое, было неудачно. Сотрудник пришел в бешенство и в некотором роде походил на разъяренного льва, которому решетка клетки мешает растерзать дерзких мальчишек, показывающих ему язык...

— Ради бога, господа! — воскликнул он умоляющим и вместе отчаянным голосом. — Где же слесарь?

За слесарем давно уже был откомандирован один юный артист, славившийся необыкновенною расторопностью, но он еще не возвращался. Рыжебородый продолжал ругаться и с редким красноречием пересказал еще несколько забавных ухищрений, которыми сотрудник газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, погасил последние искры рассудка в голове главного хозяина лавки — его старшего брата.

— Замолчишь ли ты? — воскликнул сотрудник, которого бешенство час от часу возрастало.

— Не замолчим с.

— Замолчи. Худо будет!

— Не замолчим с!

— Ну так не пеняй...

Удар по голове сапожною щеткою, вылетевшею из форточки, помешал рыжебородому отвечать. Он только вскрикнул:

— У... ух!

Вслед за щеткою в рыжебородого полетели банка с ваксою, тарелка с застывшим жирным соусом и несколько корок засохшего хлеба. Мещанин зарычал.

— Господа, — сказал, обращаясь к нам, торжествующий сотрудник полусерьезным, полушутивым тоном, — я не такой человек, чтоб стыдиться сцены, которой вы были свидетелями. Признаюсь, почти всё, что вы слышали, — сущая правда. Что же делать!.. Право бы я не стал называть дураков умными людьми, если б они без того верили мне в долг. Вы можете не скрывать от меня смеха, который, без сомнения, возбуждает в вас эта забавная сцена.

И он стал хохотать вместе с нами... Между тем мещанин пришел в себя и снова начал

ругаться.

— Что! мало еще? — запальчиво воскликнул сотрудник и нагнулся, вероятно желая найти что-нибудь, чем бы можно было нанести новый удар неугомонному крикуну.

Но он опоздал.

Х.Х.Х., обладавший удивительной способностью выпроваживать кредиторов и, кроме того, находивший особенное удовольствие побить человека, которому кто-нибудь должен, схватил рыжебородого за руки и пинками проводил с лестницы, приговаривая:

— Бесчестие купечества! изломанный аршин! Смеешь ругать благородных людей. Я тебя вляпаю в водевиль!

Чернобородый ушел вслед за рыжебородым. Явился мальчик, лет тринадцати, с плутовскими глазами и связкою книг.

— Сюда, — закричал ему сотрудник. — К форточке.

— Онисим Евстифееч приказали кланяться и прислали с книжечки, вот с...

Узел был так велик, что не мог пролезть в форточку. Мальчик стал развязывать.

— Дрянь, дрянь, дрянь и еще дрянь! — говорил сотрудник, принимая от мальчика книгу за книгу.

— Всё издания Онисима Евстифееча с. Приказал с просить — похвалить с хорошенечко с.

— А деньги есть у хозяина?

— Есть... да... нет... не знаю... кажется, нет...

— Плут! — сказал сотрудник, грозя пальцем. — Есть?

— Не знаю с.

— Из почтамта получил?

— Не знаю с...

— Ой, лжешь!.. Получил? Мальчик смутился.

— Вижу, вижу по глазам: получил!

— Не велел сказывать с... не знаю с... может быть, получил с...

— Получил! получил! — воскликнул сотрудник с необычным жаром. — Ах, боже мой! получил! Где же слесарь, господа? Где же слесарь?

Сотрудник бросился к двери и силился разломать ее: напрасно!

— Ах, черт возьми! Вот тебе и раз! Получил, а я ничего и не знаю...

Лицо сотрудника, показавшееся снова в отверстии форточки, выражало дикую злость и отчаяние.

— Он в лавке?

— Был, да ушел, — отвечал мальчик...

— Ушел? Ну, теперь его не поймаешь!.. С кем?

— С Иваном Ивановичем... да еще, не знаю, какой-то новый, седой... Пить чай пошли.

— Куда?

— Под машину.

— Под машину?.. Х.Х.Х., попробуй оттуда: не сломаешь ни как замок... Может быть, захвачу!

Мы все вместе и каждый порознь перепробовали свою силу в уничтожении преграды, отделявшей нас от сотрудника; но усилия были тщетны...

— А потом куда он пойдет?

— Куда? Вы ведь знаете, как всегда... в другое какое-нибудь заведение... Наш хозяин вина не пьет... то и дело чай... Прощайте с.

— Постой, дам записку.

Сотрудник сбегал в кабинет и возвратился с лоскутком бумаги, свернутым в виде треугольника.

— Скажи, что, если не исполнит моей просьбы, брошу работу, разругаю все его книги... Слышишь, все разругаю, и еще слушай... он меня выведет из терпения: я ему задам... понимаешь? ей богу, задам! Так и скажи.

— Хорошо, — отвечал мальчик с улыбкою, которая доказывала, что ему приятно было бы, если б сотрудник исполнил свое обещание.

— Прощайте с.

Он ушел. Вслед за ним явился другой мальчишка, в пестром пестредевом халате, с парюю новых, ярко начищенных сапогов.

— А, сапоги! — сказал сотрудник. — Насилу то! Давай сюда: я померяю.

Сотрудник выставил из форточки руку. Мальчик подал ему один сапог...

— Хорош, — сказал сотрудник. — А другой?..

Сотрудник опять высунул руку. Мальчик стоял в нерешительности, поглядывая то на оставшийся в руках его сапог, то на сотрудника.

— Хозяин приказал получить пятнадцать рублей, — сказал он.

— Знаю, братец, знаю; точно пятнадцать... Давай же другой сапог: у меня, братец, левая нога немножко больше правой, нужно померить.

Мальчик еще несколько мгновений боролся с самим собою и наконец вручил сапог сотруднику.

— Хорош! — сказал сотрудник после некоторого молчания. — Оба хороши! Каковы то в носке будут? А про деньги скажи хозяину: завтра сам занесу.

— Нельзя с! — сказал мальчик дрожащим голосом.

— Ну вот, нельзя! Точно в первый раз.

— Нельзя с, — повторил мальчик. — Пожалуйте сапоги назад: завтра и возьмете с...

— Вот еще! Я и так долго ждал. Они уж у меня на ногах.

— Хозяин меня будет бранить.

— Ничего; скажи только, что я взял; ничего... не будет бранить.

— Будет!

Мальчик собирался зарыдать, но Х.Х.Х. закричал на него таким диким и пронзительным голосом, что он отскочил от окошка и бегом побежал с лестницы...

— Глупый народ! — сказал сотрудник. — Как будто не всё равно получать деньги что сегодня, что завтра!

Положение наше с каждой минутой становилось ужаснее. Дело было в начале зимы. Мороз и ветер, проникавший в разбитые стекла коридора, пробирал нас до костей. Головы некоторых тресали. Мы готовы были уйти. Но в то время как общее терпение начало истощаться, общество наше увеличилось издателем газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, которого обычай являться на званые обеды, завтраки и вечеринки как можно позже спас на сей раз от томительного получасового ожидания на ветру и стуже. Узнав несчастное положение своего сотрудника, он очень много смеялся и сказал в заключение, что подобный случай очень годится для водевиля и что французские водевилисты именно такого рода случаями пользуются для составления своих эфемерных произведений...

— Впрочем, — заключил он с очаровательною улыбочкой, которая на устах его обыкновенно служила предвестницею каламбура, — уж не нарочно ли вы заперлись, милейший мой: у вас, надо признаться, есть-таки привычка *запираться!*

Каламбур, уже раз произнесенный, но получивший в устах издателя известной газеты новую прелесть, заслужил общее одобрение, но не согрел наших избывших членов; Х.Х.Х. дул изо всей силы в ладони и сожалел, что отпустил свою коляску. "Я бы, — говорил он, — покуда лучше съездил к князю Зезюкину да к дяде — в палату... он там председателем..." Долговязый Кудимов выплясывал трепака, стараясь разогреть свои длинные и сухие ноги, которые имели обыкновение очень скоро зябнуть; несколько молодых актеров и сочинителей боролись и давали друг другу порядочные толчки, называя свое упражнение полированием крови; Анкудимов (драматург водевилист) с быстротою, не свойственною его летам и почтенной наружности, бегал по коридору, напевая, патристическую песню, которой аккомпанировали его собственные зубы. Только актер, отличавшийся необыкновенной любезностью, сохранял полное присутствие духа: вытребовав от сотрудника через форточку карты, он метал банк лунатику, Хапкевичу и еще нескольким любителям сильных ощущений на верхней ступеньке

лестницы.

Водевилист драматург ударил себя в лоб и торжественно объявил, что ему пришла прекрасная мысль.

— Что о?

— Знаешь ли, братец... Брр!.. Выдай нам в форточку водки...

— Славная мысль!

Сотрудник молчал. Лицо его страшно измелилось; казалось, на душе его лежала какая-то тяжелая тайна; казалось, он хотел в чем-то признаться; но прежде чем он решился на что-нибудь, издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, предложил на всеобщее усмотрение следующую мысль:

— Зачем, господа? Долго терпели... Немножко уж не беда потерпеть. Поверьте, счастье человеческой жизни заключается именно в обстоятельствах, предшествующих свершению наших желаний... Ну, что было бы, если бы мы пришли прямо в квартиру Павла Степановича, застали бы там накрытый стол, начали пить, есть... ничего, решительно ничего! Обыкновенная история: проза, проза и проза!

Все одобрили мысль издателя, хотя втайне многие были ею недовольны и приписывали стоическую твердость ее изобретателя не столько его особенному взгляду на удовольствия жизни, сколько тому, что издатель не успел еще хорошенько прозябнуть...

— Ну так и быть! — сказал Анкудимов, принимаясь опять бегать и петать. — Подожду. Зато уж, брат, твой джин только держись. Я хвачу целый стакан.

— И я, — подхватил Кудимов, загибая угол червонной семерки. (Он понтировал в долг.) — Пять рублей мазу!

— И я.

— И я.

Сотрудник посмотрел на господ, делавших такие опустошительные предположения насчет его джина, с каким-то невыразимо болезненным состраданием и глубоко вздохнул... Вздох его нечувствительно сообщил почти всему собранию...

— О чем вы вздохнули?

— О непрочности человеческого счастья!

— А вы?

— О сардинках.

— Вы?

— Я вспомнил брата: он в прошлом году отморозил себе руки и ноги.

— Бррр!.. Руки и ноги! Бррр!..

Многие начали дуть в руки и бегать с особенным жаром.

— Берегите носы, господа. Тут недолго остаться без носа!

— Ну, небольшая беда; один нос отмерзнет, другой останется: мы ведь все с лишним носом.

— Ха! ха! ха!

— А вы что вздыхаете? У вас, кажется, очень теплая шуба!

— Давеча я забежал к Т***: у него на столе стоит чудесный пастет, лафит, сыр. Я ни до чего не дотронулся.

— И хорошо сделали. Поедим вместе.

— О, уж как поедем!

— Мне ужасно хочется ветчины.

— И мне.

— Мне сыру.

— Мне сардинок и джину.

— Мне икорки.

— Я так голоден, что поглодал бы и *корки*.

— Ха! ха! ха! ха! ха! ха!

— Удивительная вещь ум: не мерзнет и на морозе! У тебя, братец, верно, есть ветчина?

- И сардинки?
- И пармезан?
- О, как же, господа! Всё есть, решительно всё...
- И джин?
- И портер?
- И шампанское?
- Разумеется, разумеется!

Хозяин отвечал протяжным, шутливым тоном; но в голосе его в то же время было что-то до такой степени болезненное, физиономия его отражала в себе столько разнородных чувств, что нельзя было не заметить, что ему совсем не до шуток... Казалось, в душе его происходила борьба; он то высовывал голову в форточку, с видом человека на всё готового, то прятал ее с поспешностью. Наконец решительность осветила все черты лица его, он сделал знак рукою и просил, чтоб его выслушали. В голосе хозяина было столько торжественности и какой-то ужасающей таинственности, что даже многие из понтеров бросили карты и спешили стать в положение внимательных слушателей напротив форточки, которая должна была служить проводником загадочной речи.

— Господа, — сказал он нетвердым голосом, — конечно, это больше ничего, как случайность... забавная, конечно... но не менее неприятная... Сколь ни приятна мне честь, которую вы мне делаете... ожидая вот уже полчаса на холоде моего завтрака, но я должен вам сказать, что для вас гораздо выгоднее было бы не дожидаться...

— Так вот что! С церемониями! А мы думали бог знает что! Полно; что за церемонии... Мало ли чего не случается... Дождемся... Мы тебя так любим...

Когда восклицания умолкли, хозяин продолжал:

— Благодарю, благодарю, господа. Но совесть не позволяет мне долее употреблять во зло вашу благосклонность... Вы иззябли, вы хотите есть...

— И пить, братец, особенно пить!

— Но, увы!.. Я должен признаться...

— Идет! идет! — закричало несколько голосов, и взоры всех устремились на лестницу, где показался юный артист в сопровождении рослого парня, в пестром халате, с огромною связкою разнородных ключей. Клики общей радости заглушили слова хозяина, который всё еще говорил. Слесарский подмастерье в минуту был поставлен перед заветной дверью.

— Отпирай, братец, поскорей. Что вы так долго ходили?

— Был у десяти слесарей. Никто нейдет... Насилу уговорил одного.

Подмастерье попробовал один ключ, другой, третий — и наконец отпер замок...

— Ну вот! Все затруднения уничтожились сами собою. Было из чего хлопотать, говорить такую странную речь!..

С шумом и криком неистовой радости толпа бросилась в дверь.

II

В КВАРТИРЕ

Квартира сотрудника состояла из прихожей, совершенно темной, гостиной, освещавшейся двумя окошками, выходившими на крышу сарая, кабинета, освещавшегося одним окошком, из которого видно было до сорока разнокалиберных труб, и кухни, заимствовавшей свой свет от коридора, в подражание планетам, заимствующим свет от солнца. В гостиной стояло три стула и березовый крашенный стол; в кабинете, длинном и узком, начинавшемся окошком и оканчивавшемся одностворчатого дверью в кухню, помещался длинный письменный стол, стул, зеленые вольтеровские кресла, этажерка, по другой стене — диван. Стол был завален книгами и рукописями в ужасающем беспорядке; под столом и на полу также валялись книги, рукописи и старые корректуры; на диване лежали

смятая подушка и одеяло; на стуле — брюки с невынутыми сапогами — живое подобие хозяйских ног; над столом висели портреты Кутузова, Поль де Кока и Гутенберга; над кроватью картинка в рамке, обложенной золотым бордюром, изображающая красавицу, которая, ложась спать, распускает ворот сорочки. Во всем были заметны признаки бедности, беспечности и равнодушия к порядку и благообразию. Но ни в чем не было заметно малейших признаков завтрака...

— Давай же, братец, водки! — нетерпеливо сказал драматург.

— Водки! — вскричал Х.Х.Х. диким и страшным голосом над самым ухом хозяина.

— Водки! водки! водки! — повторили многие громко и резко.

— Водки!

И все начали кричать изо всей силы: "Водки!.." Хозяин стоял неподвижно, сложив на груди руки и осматривая по очереди каждого из присутствующих взором грустным и сострадательным.

— Господа, — наконец сказал он с принужденной улыбкой, — вы долго ждали, подождите немножко еще. Зато я расскажу вам чудесную повесть, в которой не пощажу даже себя. По-моему, лучше сознаться во всем чистосердечно, чем оставить необъясненными причины странного приема, который я вам сделал; тем более что между вами есть несколько лиц, которых я не имею чести знать коротко. Я должен извиниться перед ними... Итак, умоляю вас, выслушайте меня!

— Лучше бы прежде закусить.

— Ну пусть его говорит: он что-то очень расстроен!

Еще несколько минут продолжался ропот неудовольствия; наконец замечание издателя газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, что если хозяин настоятельно требует отсрочки завтрака, то, вероятно, имеет на то основательные причины, заставило всех замолчать. Сотрудник начал рассказ, который передается здесь с возможной точностью.

— Я имею, господа, привычку, когда у меня нет денег, — что случается двадцать девять раз в месяц, — прогуливаться по отдаленным петербургским улицам и заглядывать в окошки нижних этажей: это очень забавляет меня и нередко доставляет мне материалы для моих фельетонов. Не можете представить, какие иногда приходится чудеса видеть: иногда, проходя мимо какого-нибудь окошка, в одну минуту, одним мимолетным взглядом, увидишь сюжет для целой драмы; иногда — прекрасную водевильную сцену. В тот день, о котором я хочу говорить, я видел очень много забавных и странных вещей. Представьте себе панораму, в которой виды беспрестанно меняются, и тогда только вы поймете всё разнообразие, всю прелесть моего наслаждения. Мастеровой у станка, согнувшись, опиливает какую-нибудь мелкую принадлежность своей работы; жена, подкравшись сзади, целует его в колпак и в то же время делает глазки подмастерью, который сидит у другого окошка; цирюльник держит за нос толстого, красного господина, которому, как ребенку, под горло подвязана салфетка или целая простыня; титулярный советник целует свою кухарку, которая в знак особенной нежности колотит его по спине жирными, красными руками, засученными по локоть; чиновник в пестром халате, красной ермолке, перевернувшись на окошке вверх брюхом, старается кинуть на балкон второго этажа, где мелькает белое платице, стройная ножка и черный локон, записку, сложенную хитро и красиво; другой, также молодой человек, а иногда и довольно старый, курит трубку, посвистывает и поет на голос "Чем тебя я огорчила":

В двенадцать часов по ночам

Из гроба встает барабанщик...

Шум, крик, хохот, табачный дым столбом валит из раскрытых окошек. Четыре господина с почтенными, глубоко внимательными физиономиями сидят за зеленым столом; по углам пуншевые стаканы: один недопит на палец, другой на вершок, третий пустехонек, четвертый не тронут! Господин с крестом и с лысиной шутив и весел, он мурлычет какую-то песенку; господин с крестом без лысины скучен и мрачен, он произносит проклятия... два остальные

господина без крестов и без лысин ни скучны, ни веселы: они душой и телом погружены в игру, в карты, которые у них на руках, и по временам исподтишка — в соседственные. Господни с большими черными усами, и плисовом архалуке, гладит собаку и грозит кулаком жене; другой господин, с небритой бородой, стекловидными, опухшими щеками, потягивает по временам сивуху из стоящего перед ним полуштофа и после каждого глотка погружает свои пахучие губы в мягкую шерсть любимца кота, целуя его и приговаривая: "Не хочешь ли водки, дурашка?"

О, сколько милых ласк потеряно напрасно!..

Девушка с густыми черными бровями, продолговатым "вдумчивым" лицом, подперши локтем голову, внимательно смотрит в книгу, лежащую перед ней на окошке; страницы перевертываются быстро, и не одна из них смочена слезами красавицы. Как приятно подсмотреть, что читает она!.. Мальчик перевесился через окошко и готов выпасть; грубая, неопрятная рука схватывает его за ногу и уносит в глубину комнаты; поднимается страшный вой... Старуха с огромным...

— Ну уж будет, братец, пересчитывать сцены, которыми ты любовался. Нельзя ли поскорей к делу?

— Сейчас, господа... Старуха с огромным совиным носом, черными усами и бакенбардами, с сухим, костлявым и желтым лицом, в раздранном рубище, сидит на ветхом треногом стуле и рычит, как корова, от горя и голода; девушка лет двадцати, также бедно и неопрятно одетая, но хорошенькая, очень хорошенькая, стоит перед ней на коленях, целует руки ее и нежным, дрожащим от слез и волнения голосом шепчет ей слова надежды и утешения...

Я невольно остановился перед кривым, полуразбитым окошком грязного деревянного домишка, где происходила сцена, о которой теперь говорю. Тут уже стояло несколько любопытных, привлеченных странностью зрелища. Они разговаривали между собою, смеялись, делали остроумные замечания, но никто не думал помочь несчастным... Такое равнодушие ужаснуло меня. Но я еще больше расчувствовался, когда старуха, вскочив с какою-то неестественною живостию, начала бить себя в грудь кулаками и кричать диким, нечеловеческим голосом.

— Видно, кликуша! — заметил один из зевак,

— Кликуша! кликуша!

И толпа подступила к самому окошку. Я за нею...

Старуха продолжала кричать; девушка стояла на коленях и молилась; лицо ее выражало трогательную покорность провидению; из глаз ручьем лились слезы...

Я бросился в ворота и чрез минуту очутился в комнате.

— Что здесь делается? — спросил я.

— Ах, помогите, помогите! — сказала девушка изломанным русским языком, доказывавшим нерусское происхождение. — Матушка моя умрет с голоду!

Девушка упала передо мной на колени.

— Не унижайся, дочь моя! — воскликнула старуха трагическим голосом по-немецки. — Мы бедны, но мы должны беречь свою честь: она единственное наше сокровище!

— Ах да! — воскликнула девушка и, зарыдав, упала на грудь матери. — Но вы, матушка, третий день ничего не кушали!..

У меня, господа, было всех на все пятнадцать рублей до первого числа оставалось еще две недели; но, если б я знал, что, отдав последние деньги, я должен буду умереть с голоду, я и тогда отдал бы их. Большого труда стоило мне оказать несчастным пособие: дочь — туда и сюда, но мать — гордая и честная немка, как я мысленно называл ее, — рвала на себе волосы и называла меня оскорбителем своей чести. Я принужден был употребить хитрость и, положив деньги в карман, шепнул девушке, чтоб она последовала за мною.

— Когда вам будет нужда опять, — сказал я, отдавая ей деньги, — приходите ко мне.

— О благодетель наш! Вы спасли мою мать! — воскликнула она с чувством глубокой благодарности. — Небо заплатит вам!

Сказав адрес моей квартиры, я поспешил удалиться.

— Всё это, — заметил нетерпеливый драматург водевилист, — очень хорошо и доказывает твое великодушие, однако ж нисколько не относится к завтраку, о котором идет речь.

— О, напротив, напротив! — возразил сотрудник с большим жаром. — Совершенно напротив.

— Не мешайте ему продолжать, — сказал издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, — повесть его начинает меня интересовать.

— Если он и врет, то врет очень складно! — заметил Х.Х.Х.

— Известно, как сочинитель, — отвечал ему лунатик громким хохотом.

Тишина восстановилась, и хозяин продолжал:

— Заметьте, господа, одно обстоятельство: когда я выходил от несчастных, так нечаянно спасенных много, быть может, от голодной смерти, некоторые из зевак, бывших свидетелями этой сцены, громко хохотали и показывали на меня пальцами, делая на мой счет какие то замечания; один даже сказал так громко, что я мог слышать:

— Надули голубчика!

Толпа отвечала ему хохотом... Всё это происходило назад тому месяца два. Поверите ли, господа, с тех пор до сегодняшнего дня Амалия (так звали девушку) не выходила у меня из головы. Каждый день я ходил мимо ее бедной квартиры, но ни разу не решился зайти, опасаясь оскорбить ее гордую и благородную мать. Зато Амалия ходила ко мне довольно часто...

— У гу!

— О го!

— А га!

— Э ге!

— Ваши двусмысленные восклицания совсем неуместны: она приходила ко мне не более как на минуту, брала небольшую помощь, которую я мог уделять ей от своих скудных доходов, и уходила, оставляя в сердце моем неизгладимый след своей красоты. В одно из своих посещений она рассказала мне свою краткую и простую, но трогательную историю и тем еще более увеличила мое участие, которое — вы догадываетесь — скоро превратилось в любовь. Амалия — ревельская урюяденка, год тому лишившаяся брата, который кормил ее с бедною матерью. Потеря сына заставила старуху и дочь ее переселиться в Петербург, где Амалия надеялась найти место гувернантки и в крайнем случае горничной, или, как говорится для большей важности в полицейских публикациях, камер юнгферы. Но надежды, по обыкновению, не сбылись; мать захворала; дочь работала день и ночь, но трудов ее не доставало на удовлетворение нужд и прихотей больной, раздражительной матери; нищета постучалась в дверь бедных страдалцев, за нею голод...

— А за голодом ты?

— Да, я, господа. Если бы вы слышали, с каким чувством говорила бедная девушка о своих несчастиях, как просто и красноречиво высказывалась в каждом слове ее беспредельная любовь к матери, если б вы знали, с каким терпением переносила она все капризы, все прихоти гордой и своенравной старухи, наконец, если б вы видели слезы благодарности, катившиеся из глаз несчастной девушки на мои руки, — уверяю вас, вы сделали бы то же, что сделал я: вы влюбились бы по уши! В последовавшее затем свидание мы объяснились. Не могу описать вам чувства, овладевшего мною, когда я услышал от нее робкое слово взаимности. Признаюсь, до той поры мне никто не объяснялся в любви и преданности, кроме моего вечно пьяного человека, который имеет привычку изворачиваться таким образом, когда я ловлю его в воровстве медных денег, водки и сахара. Разумеется, я обезумел от радости — не мог ни писать, ни думать, ни даже читать корректуры; целый день посвистывал, подпрыгивая в своей комнате на одной ножке, и не раз очень изрядно ушиб голову, потому что потолок, как видите, довольно низок. Но лишняя шишка на голове, господа, тут ничего не значит: она не может

уменьшить того счастья, того внутреннего довольства и мира, которые приносит любовь, — я был на седьмом небе...

— Прекрасно, но будет уж о любви. Нельзя ли подвинуться к завтраку.

— К завтраку, к завтраку!

— Сейчас, господа! С каждым посещением я, как водится, открывал в ней новые совершенства. Не поверите, как несчастная любила свою мать! Иногда прибежит ко мне со слезами: "Матушка просит рейнвейну, рейнвейну!.. Если я скажу ей, что мы уже так бедны, что не в состоянии купить бутылку рейнвейну, она умрет с отчаяния!" В другой раз явится бледная, расстроенная, в обрывках того самого платья, в котором я увидел ее в первый раз. "Что же ты не одеваешься в свое новое платье (я, господа, подарил ей прекрасное платье), которое так идет к тебе?" Она падает ко мне на грудь, плачет и признается робко и тихо, что продала его для удовлетворения какой-нибудь новой прихоти больной, выжившей из ума старуха. Какова девушка, господа?

— Это много, это очень много, — заметил издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, — когда девушка жертвует для больной матери даже нарядами. Прекрасный пол так любит наряды!..

Нарядов нет — прекрасный пол

Капризится, тоскует, плачет.

Наряды есть — прекрасный *пол*

Под *потолок* в восторге скачет.

— Вот вам экспромт, господа!

— Ха! ха! ха!.. ха! ха! ха!..

— Браво, Дмитрий Петрович!

"Как жаль, — подумал драматург водевилист, смотря на издателя известной газеты с чувством глубокого удивления, — как жаль, что этот необыкновенный человек имеет привычку сам записывать свои каламбуры и помещать в печатных статьях. С каким удовольствием делали бы это другие!"

И он глубоко вздохнул.

Издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, между тем, по требованию господ, недослышавших его выходки, повторил свое четверостишие голосом более громким и торжественным и был снова осыпан всеобщими похвалами.

— Хорошо, командир! — сказал хозяин.

Эти слова произвели такое действие, что сотрудник мог еще целый час продолжать свой рассказ без опасения потерять слушателей, потому что издатель, награжденный похвалою своего сотрудника, который редко обращал внимание на его остроты, необыкновенно развеселился.

— Не правда ли, господа, — сказал он, когда тишина восстановилась, — рассказ, которым угощает нас мой почтенный сотрудник, стоит хоть какого отличного завтрака?..

Никто не осмелился противоречить, хоть, без сомнения, многие отдали бы десять подобных рассказов за рюмку водки и бутерброд.

— Ну с, милейший мой, продолжайте...

И сотрудник, очень хорошо понявший выгоду своего положения, продолжал:

— Я имею несчастье, господа, принадлежать к числу тех людей, которые смотрят на женщину как на поэтическое создание, как на святыню...

— Весьма верный взгляд, — заметил издатель.

— Всякий, почти всякий из вас на моем месте, верно, не устоял бы против искушений, которые на каждом шагу расставлял мне демон соблазна. Я думал иначе. Погубить столь чистое, благородное и кроткое создание у меня не достало бы ни духа, ни совести; я понимал также, что не могу и жениться на нищей. И, однако ж, несмотря ни на что, непреодолимая сила влекла меня к ней. Я желал познакомиться с ее матерью, войти в их дом...

— То есть в конурку, — заметил кто-то.

— Ну да, в конурку. Но девушка сказала мне, что желание мое покуда несбыточно, и умоляла не разрушать обмана, благодаря которому мать ее довольно спокойна.

Прошло два месяца. В продолжение их Амалия была у меня раз пять и всегда получала какую-нибудь помощь. Наконец она прибежала третьего дня поутру и со слезами на глазах рассказала, что матери ее гораздо хуже, что нужна непременно и скорая помощь. Поверите ли, сердце мое облилось кровью: у меня почти совсем не было денег. Отдав ей последнюю мелкую монету, я просил ее прийти послезавтра и обещал оказать тогда гораздо большую помощь. К тому же, то есть к сегодняшнему, дню я приказал прийти некоторым моим кредиторам (двух из них вы имели счастье видеть). Назначая им этот день, я имел в виду деньги, которые получу с бенефицианта за мою пиесу. И вот я их получил. Бенефициант вручил мне двухсотенную ассигнацию — цена, за которую мы уговорились. Я просил у него мелких ассигнаций или серебра, но он сказал мне, что все деньги жена увезла домой. Дальнейшие события этого вечера всем вам, господа, очень хорошо известны: мы пили вместе, но я, кажется, выпил более всех, потому что, пришедши домой, едва мог кой как прочесть корректуру, которую приказал человеку отнести пораньше в типографию, и завалился спать. Поутру я проснулся довольно рано, и первую мыслью моею была мысль о завтраке, на который я вас пригласил. Я рассудил, что всего лучше будет послать за завтраком к хорошему ресторатору...

— Прекрасная мысль!

— ...и с нетерпением ждал моего человека, который, отправляясь по моим поручениям и своим собственным нуждам в город до моего вставанья, имеет обыкновение запирать меня в моей собственной квартире и уносить ключ с собою...

— Мой Санхо Панчо делает так же, — заметил издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпитафия. — Только я приказываю ему класть ключ на всякий случай в щель, которая у нас под дверями. Можно ключ достать и с той и с другой стороны, а между тем посторонний никто не знает.

— А вот мы вас и обокрадем! — сказал лунатик с громким хохотом.

— Мой человек, — сказал один молодой актер, — также имеет обыкновение запирать меня, но он поступает так единственно из предосторожности, чтоб меня самого не украли: больше украсть нечего!..

— Здесь, господа, — продолжал сотрудник, улыбнувшись наивному простодушию юноши, — начинается цепь тех несчастных событий, которые были причиною продолжительного вашего дежурства на холоде и невольного пощения. Человек мой до сей поры не возвращался: вероятно, он сидит в кабаке с приятелями, которых у него тьма тьмущая...

— Конец! конец! — воскликнули многие с радостным нетерпением. — Скажи, братец, что ж за охота была тебе мучить нас рассказом о старухе и ее дочери, которые совсем нейдут к делу?..

— В том то и дело, что не конец, — отвечал сотрудник. — Здесь только начинается...

— Что начинается? — спросили многие с ужасом.

— Развязка, — отвечал хладнокровно сотрудник. — Ужасная, роковая развязка, перед которой все рассказанные мною события покажутся совершенно ничтожными. Пропал человек — беда еще небольшая! Нельзя принести сюда завтрака — я бы мог, господа, пригласить вас к Кулону, к Лерхе, к Леграну...

— Всего лучше к Леграну, — гастрономически заметил Кудимов.

— Что же мешает тебе исполнить свое прекрасное намерение? — спросил Анкудимов.

— Пойдемте, — сказал Х. Х. Х., — ты доскажешь нам свою повесть дорогой.

— В самом деле: веселей будет идти.

— Увы, господа, — отвечал сотрудник. — У меня нет ни копейки денег!

Белолицый и беловолосый Х. Х. Х. побледнел как мертвец. Длинноногий Кудимов выронил восклицание ужаса и с разинутым ртом, с выпученными глазами остался в том

положении, в каком застала его ужасная весть: он протягивал зажженную спичку к погасшей трубке, насаженной на длинный чубук. Но всех ужаснее был водевиль драматург: улыбка самодовольствия и льстивого внимания, постоянно украшавшая его сальные растрескавшиеся губы, не успела совершенно исчезнуть, но превратилась в какое-то странное смешение — сахара с дегтем, варенья с хреном, добродетели с желчью; зубы застучали, глаза выражали недоумение и боязнь. Страшная весть сотрудника не привела в ужас только тех, у кого были в кармане деньги, за которые, как известно, очень легко достать завтрак в любой из петербургских ресторанов...

— Ну с, милейший мой, — сказал издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, — продолжайте!

— Чтоб кончить мой рассказ, нужно возвратиться к тому, на чем меня перебили, — сказал сотрудник с печальной улыбкой. — У всех ли достанет терпения дослушать меня?

— О, без сомнения!

— Итак, господа, я с нетерпением ожидал человека, чтоб распорядиться приготовлениями к завтраку. Прошло около часа: вдруг слышу робкий, несмелый стук в двери; вставать страх не хочется, да и что было бы пользы, если б я встал? Лежу! Постучат, думаю, и уйдут. Так нет, стук продолжается, усиливается и наконец принимает все признаки барабанного боя. Меня взорвало; вскакиваю, бегу к двери и кричу с гневом: "Пожалейте своих кулаков! = Человек мой ушел и унес с собою ключ: я заперт!" Иду назад через кухню — слышу, стучат в стекло; оглядываюсь и узнаю... кого бы вы думали?..

— Амалию!

— Первым делом моим, господа, было возвратиться опрометью в кабинет и накинуть халат; затем подхожу к окошку, отпираю форточку; Амалия делает невольное движение ко мне, я к ней: уста наши встречаются...

— Водевиль, решительно водевиль!

— Нет, господа, драма. Амалия была бледна и печальна; на лице ее я не мог не заметить признаков только что высохших слез. Если б не преграда, разделявшая нас, я готов был бы броситься на колени просить прощения моей невольной дерзости.

— Отчего ты так печальна, Амалия?

— Ах, я несчастна, очень несчастна!

— Не новая ли беда вас постигла?

— Ах да, ужасная! Она зарыдала.

— Говори. Я помогу тебе перенести ее. Ты знаешь, как я люблю тебя, как драгоценно мне твое счастье!

— Если б не ваша любовь (я говорю ее собственными словами, господа), если б не уверенность, что есть на земле человек, которому я что нибудь значу...

— О миленькая!

— О несравненный!

Я сделал к ней движение, но оно было так быстро и неосторожно, что на лбу моем и теперь еще можно ощупать шишку, которую я получил, ударившись об раму (я как-то особенно счастлив на шишки). Амалия вскрикнула от испуга; но я успокоил ее, просунул голову в форточку, и поцелуи градом посыпались на мою рану: боль, разумеется, тотчас прошла...

— Я умерла бы, я давно уже не в состоянии была бы переносить тяжелых испытаний, которыми обременяет меня судьба, — лепетала она, продолжая прежнюю мысль. — Да если б еще не мать, не моя больная, бедная мать!

— О добрая девушка!

Робким, трепещущим голосом рассказала она, что матери ее с каждым днем становится хуже, что малейший признак нищеты приводит ее в ужас. Я благодарил судьбу, что имею средство помочь страдальце, и побежал в кабинет.

— У меня нет мелких, — сказал я, возвратившись с двухсотенной ассигнацией, кроме которой у меня действительно не было ни копейки. — Если б ты согласилась немножко

подождать... Придет мой человек... я пошлю разменять...

— Моя мать, моя бедная мать! — произнесла девушка, ломая руки. — Может быть, она теперь при последнем издыхании!

Я не знал, что делать; сердце мое разрывалось; если б в ту минуту попался мне под руку мой человек, я бы растерзал его. Вдруг счастливая... счастливая!., (сотрудник горько усмехнулся) мысль озарила мой разум...

— Добеги в лавочку, — сказал я. — Разменяй эту ассигнацию: возьми себе сколько нужно... двадцать пять, пятьдесят рублей... а остальные принеси мне...

Она пошла — и не возвращалась...

Некоторые хохотали, другие принялись утешать бедного сотрудника газеты, говорили, что, быть может, долгое отсутствие девушки произошло от каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, и пр. и пр.

— Напрасно вы тратите свое красноречие, господа, — сказал он печально и мрачно. — Припоминая все побочные обстоятельства, все декорации небольшой драмы, которую я вам рассказал, я с каждым часом более и более убеждаюсь, что "она" — просто плутовка. Не старайтесь утешать меня, я очень твердо уверен, что одурачен!

Никто не посмел возражать такому сильному убеждению, которое к тому же имело вид вероятности. Водевилист драматург, долговязый друг его и некоторые другие взяли за шляпы, опасаясь прозевать скромный домашний обед, что было бы очень накладно в их положении. Я остановил всех, пригласив отобедать на мой счет в ресторации.

Мы обедали до полуночи, подтрунивая над сотрудником, который, выпив с горя всех больше, повторял беспрестанно раздирающим душу голосом:

— Я дурак, я ужасный дурак!..